

**Николай Платонович  
Карабчевский**

**Что глаза мои видели (Том 1, В  
детстве)**

**Москва  
Книга по Требованию**

УДК 82-94  
ББК 63.3-8

**Николай Платонович Карабчевский**

Что глаза мои видели (Том 1, В детстве) / Николай Платонович Карабчевский – М.: Книга по Требованию, 2011. – 118 с.

**ISBN 978-5-4241-1567-7**

Николай Платонович Карабчевский - адвокат один из наиболее выдающихся. В 80-е годы XIX века был уже знаменит, но и в начале XX в. оставался звездой первой величины.

**ISBN 978-5-4241-1567-7**

© Издание на русском языке, оформление, «  
YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «  
Книга по Требованию», 2011

Карабчевский Николай  
Платонович  
Что глаза мои видели (Том 1, В  
детстве)



Карабчевский Николай Платонович  
(1851-1925) Адвокат  
"Что глаза мои видели"

Том I - В детстве

Старая орфография изменена.

Этот труд напечатан в количестве пяти тысяч экземпляров, из которых сто на лучшей бумаге.

Все права сохранены за автором

Посвящается русским друзьям

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Свет Божий я увидел впервые в городе Николаеве, Херсонской губернии, в конце 1852-го года.

Что это не был свет солнца, - ясно уж из того, что я родился, (как и большая часть современного людского рода) до утренней зари, в ночь на 30-ое ноября. Что это не был яркий свет электричества, порукою то, что эта могучая сила не была еще в то время законтрактována акционерными компаниями и не отпускалась в раздроб при помощи штепселей и кнопок.

Вероятно, это был слабый свет масляной лампы (керосиновые были еще впереди), или сальной, в лучшем случае стеариновой свечи.

У бабушки Евфросинии Ивановны только в парадных комнатах, т. е. в гостиной, столовой и в зале, в стенных бра, подсвечниках и в высоких канделябрах были заправлены стеариновые свечи, в жилых комнатах обходились особым (высшего) сорта сальными шестигранными свечами, не слишком быстро оплавившимися, в отличие от тонких сальных сосулук, с быстро нагоравшими, растрепанными фитилями, которые были в ходу в людских, девичьих и кухонных апартаментах. Полагались особого рода щипцы и щипчики (иногда фигурного фасона), для снятия фитильного нагара, но даже бабушкины премьер-лакеи (Степка и Ванька), за ними и вся дворня, отлично приспособились снимать нагар примитивным способом, т. е. пальцами, предварительно поплевав на них.

Мать моя, Любовь Петровна, как я приметил, предпочтительно любила ровный и мягкий свет масляной лампы, затененный белым фаянсовым абажуром. По всей вероятности, этот уютно-незлобивый свет и был первым, который увидели мои глаза.

Одновременно с ним я должен был увидеть множество женских лиц - (тетушек родных, двоюродных и троюродных), и ни одного мужского лица.

Ни одного мужского лица потому, что мой отец (Платон Михайлович) как раз в это время, после возвращения из "похода против венгров" (подавление „венгерского восстания" в царствование Николая Павловича в 1848 году), получил в командование уланский Его Высочества Герцога Нассауского полк, который в эту пору квартировал в местечке "Кривое Озеро", где мать, мною беременная, не могла основаться. В то время процедура приемки и сдачи кавалерийского полка, с его фуражом, амуницией и лошадьми, считалась хозяйственно-сложной и крайне ответственной. К тому же, принимаемый отцом полк в то время усиленно ремонтировался, готовясь к весеннему Высочайшему смотру в Чугуеве, куда по этому случаю, должна была стянуться кавалерия со всего юга.

Отца моего я никогда не видел; по крайней мере, не помню, чтобы я его видел; видел ли он меня в течение полутора лет, которые он еще прожил после моего

появления на свет, - не знаю.

Вероятно, все-таки урывался в отпуска и подержал на своих руках наследника.

Долго мне об отце никто ничего не говорил и ничто мне его не напоминало, кроме молитвы, которой меня научила, в числе других молитв, няня Марфа Мартемьяновна.

Каждое утро, и вечером, перед укладыванием меня в постель, я повторял сначала за нею, а затем выучил и наизусть, кроме "Отче наш", "Богородицы" и "о здравии мамы, бабушки, сестрицы и всех сродников", - еще и такую молитву: "упокой Господи душу родителя моего, раба Божия Платона и сопричти его к лику праведных твоих".

Не будь этой молитвы, сочиненной, очевидно, сердобольным рвением самой Марфы Мартемьяновны, мне бы не приходило в голову, что у меня, кроме бесконечно любимой матери, был еще и отец.

Только уже почти в годы отрочества, из рассказов матери и других близких мне - (а их было множество, и все говорливого, женского пола)" я узнал кое-что доподлинно о моем отце.

Он женился на моей матери бездетным вдовцом и прожил с нею недолго, всего лет шесть.

Старшая моя сестра, Соня умерла, не дожив и года; вторая Ольга, старше меня года на два, была бессменной подругой всего моего детства. По общему отзыву, она была "вылитый отец", я же походил, скорее, на мать.

Судя по сохранившимся двум портретам покойного отца, он был видный, бравый кавалерист. Мать, которая вышла за него замуж по страстной любви, уверяла, что он был "просто красавец".

На одном портрете (акварель) он изображен на своем белом, арабской крови, "Алмазе", в полной парадной форме своего полка. На другом, малом, рисованном на слоновой кости, он изображен только по пояс. По отзыву матери, этот особенно разительно передал сходство. Здесь, рядом с белыми, во всю грудь, лацканами его мундира, он выглядит жгучим брюнетом, с черными, как воронье крыло, опущенными вниз усами, небольшими, по тогдашней моде, бачками и черным как смоль, слегка выющимся коком, над высоким смугловатым лбом.

Позднее, родной брат покойного, Владимир Михайлович Карабчевский, утверждал и объяснял мне, что род Карабчевских - турецкого происхождения. У него была даже какая-то печатная брошюрка, семейная реликвия, содержавшая в себе соответственные сведения. Во время войн при Екатерине, при взятии Очакова, был пленен мальчик-турчонок, родители которого были убиты. Его повез с собою в Петербург какой-то генерал, там его отдали в военный корпус и дали фамилию от "Кара", что значить черный. Он мог быть дедом моего отца и, стало быть, моим прадедом. Весь род Карабчевских, вплоть до меня, служил в военной службе, преимущественно в каваллерии.

Великолепные, карие глаза отца, вместе с синеватым отливом их белков и красиво загнутыми ресницами, целиком унаследовала сестра Ольга, которая, в свое время, считалась в ряду красивейших девушек (или по тогдашнему, "выезжающих барышень"), города Николаева, который в то время, как раз, славился своими красавицами.

Из формулярного служебного списка покойного отца, который и сейчас у

меня цел, я знаю, что образование он получил "домашнее", причем в той же графе, почему-то, особо обозначено: "арифметику знает". В полк он вступил юнкером, довольно поздно, так как пробовал раньше какую-то штатскую службу. В военной он подвигался очень быстро; очевидно нашел свое призвание. Полковником, и уже полковым командиром, был, когда ему едва стукнуло сорок лет.

После знаменитого Чугуевского смотра, на котором перед Николаем Павловичем парадировала преимущественно каваллерия, отец удостоился особой, занесенной в его формуляры, Высочайшей благодарности. Предрекали, что следующей для него наградой будут вензеля и флигель-адъютантский аксельбант; но рок судил иначе. Именно с этого смотра, предшествуемого бесконечными учениями и маневрами, он, по словам матери, вторично жестоко простудившись, стал хворать, но ни за что не хотел оставить службы и перемогался, пока не слег совсем.

Умер он на 43м году жизни там же в Кривом Озере, где стоял его полк. Там и похоронен близ самой церкви.

От какой именно болезни он угас, мне в точности не удалось узнать.

По этому предмету показания матери и дяди Всеволода (или дяди „Всевы“, как мы его с сестрой любовно называли, и о котором не раз еще я вспомню), диаметрально расходились и даже бывали предметом, настойчивых пререканий.

Мать утверждала, что отец умер, не уберегшись от вторичной простуды, которая "бросилась на легкие", дядя же Всеволод (мамин единоутробный брат), очень друживший с покойным, заверял, что он погиб от какой-то "лихорадки", вывезенной им из Венгрии, своевременно не понятой врачами.

В графе формулярного списка покойного отца с стоическою краткостью обозначено: умер "от кашля".

Из некоторых отрывочных замечаний бабушки, при воспоминаниях о покойном, я заключал, что она была не вполне довольна браком моей матери. В Николаеве, где царил Черноморский флот, каваллерия не могла быть в особой чести, притом же, как я убедился из формуляра отца, он всего на всего владел тремя-четырьмя десятинами земли, с соответствующим количеством "крепостных душ", бабушка же Евфросиния Ивановна была владелицей трех больших подгородных имений, обширного дома с флигелями в центре Николаева и вообще считалась большою "особою" не только в городе, но и по губернии. Через двух своих дочерей, сыновей, племянниц и внуков она перероднилась со всем городом и пришлый каваллериист, мелкопоместный помещик, случайно задержавшийся со своим полком в Николаеве, не представлялся слишком завидной для ее любимой дочери партией.

Именно по настоянию бабушки мать оставалась в Николаеве, когда отец получил полк в "Кривом Озере". Ей был отведен на постоянное житье весь "наличный флигель" т. е. дом, также выходящий на Спасскую улицу, по фасаду „большого дома“, в котором жила сама "старая барыня" т. е. бабушка.

Оставшейся молодой вдовою, матери не раз, по понятиям бабушки, представлялись „прекрасные партии" и она очень склоняла ее выйти вторично замуж; но, мать, - трижды будь благословенна ее память! - из любви к детям, не решилась дать им отчима и не стала вить нового гнезда, оберегая прежнее, осиротелое.

Мать свою я любил бесконечно.

Величайшим в раннем детстве было для меня счастьем забраться к ней за спину, когда она по вечерам читала, или вышивала, сидя у лампы, на своем "вольтеровском" кресле, и играть с завитками ее волос у шеи и целовать их. Иногда я тут же и засыпал, свернувшись клубочком, или притворялся спящим, потому что тогда она сама уносила меня в кровать и помогала раздевать меня. Я обнимал ее шею и долго не отпускал от себя.

Я был большим "плаксо́й". Бесчисленные мои кузины, носившие меня на руках, не напрасно утверждали, что у меня "глаза на мокром месте". Но это было не от капризов, а от чрезмерной впечатлительности.

Мать любила общество, ездила на балы и вечера, но это повторялось не слишком часто. Эти ее выезды были для меня одновременно и большим блаженством и большой мукой. Мы с сестрой всегда присутствовали при ее туалете в эти вечера, усаживались в креслах с двух сторон ее туалетного зеркала. Какою она мне представлялась тогда красавицею с открытой шеей и округлыми матовыми плечами, в изумрудном ожерельи, таких же серьгах и фермуаре, отливавших бриллиантовыми искрами. Я понимаю теперь, почему из всех драгоценных камней изумруд до сих пор мне особенно люб.

Но раз туалет заканчивался, я начинал сперва только украдкой, "как бы сморкаться", а затем, при расставании, неудержимо всхлипывал. Долго, и после ее ухода, я не мог успокоиться.

Кроме няни и горничных, с нами, в этих случаях, всегда оставался кто-нибудь из взрослых кузин, обожавших "тетю Любу" т. е. мою мать и прибегавших по соседству развлечь и забавить неисправимого "плаксу".

Удавалось это им не сразу, но, раз удавалось, начиналась шумная беготня по всему дому и Марфе Мартемьяновне, после заправок лампад в детской, удавалось не сразу залучить нас к постелям.

Обыкновенно ей приходилось прибегать к помощи шустрой Матрешки, горничной, которой предстояло изловить меня и нести на руках в детскую.

Матреша была милая, от нее пахло яблоками, так как в комнате, где она спала, на полках хранились яблоки и большие стеклянные банки с черносливом. Я обнимал ее шею и мне было уютно и приятно на ее упругой груди.

Младшая из моих кузин, Леля, особенно часто корившая меня за "глаза на мокром месте", однажды вздумала унять меня нарядившись "старой жидовкой", которая должна унести меня, вместе с ворохом старого платья, если я не уймусь.

Хотя она очень худо гримировалась "под жидовку" и я отлично различал, что под платком, накинутом ею на голову, несмотря на то, что и волосы она себе растрепала, была все та же Леля, а не жидовка, тем не менее отчаянию и страху моему не было конца. Я потом долго не мог уснуть, так как мне виделась уже настоящая "старая жидовка" с большим узлом, куда она свободно могла меня запихнуть.

На другой день "выдумщице" Леле очень досталось и от "тети Любы", и от Марфы Мартемьяновны и она была совсем не рада своей затее.

"Женское царство" окружало меня в детстве.

Я был в то время единственный "мужчина" в доме.

Дядя Всеволод, который впоследствии был долго неразлучен со мной, в это



время служил еще в Петербурге.

Бабушкин сын от первого ее брака, Всеволод Дмитриевич Кузнецов, был флотским офицером. По его собственному признанию, он был плохим моряком, так как жестоко страдал от морской болезни. Уже во время мичманского кругосветного плавания его вынуждены были, где-то за границей, "списать на берег", так как он не только не свылался с морем, но каждая новая качка становилась для него смертельной угрозой.

Благодаря этому ему стали давать береговые места, а в данное время он состоял офицером Морского Корпуса в Петербурге.

Остальной морской элемент обширной бабушкиной семьи, так или иначе прикосновенный к флоту, был либо в Кронштадте, либо в Севастополе, где вскоре должна была начаться знаменитая Севастопольская страда.

В качестве единственного наличного представителя мужского элемента в семье, балуемого женским полом, был, таким образом, я и потому не трудно себе представить, сколько женской любовной ласки выпало на мою долю с первых дней моего существования.

Однако, с кормилицей у меня, как мне рассказали потом, вышло огромное недоразумение.

На восьмом месяце моего кормления она неожиданно скрылась, "как в воду канула".

С вечера пропала, только ее и видели.

Воображаю, какой переполох поднялся с моим кормлением.

Искажался я, вероятно, неистово, так как, за неимением под рукой другой кормилицы, пришлось посадить меня "на рожок".

"Проклятая, чуть было не уморила ребенка", - говаривала и долго спустя и не раз Марфа Мартемьяновна.

"Проклятую так и не разыскали, хотя все меры к тому были приняты.

Были от полиции и "розыск" и "публикации".

Публикации в то время так производились: ранним утром ходил по улицам своего окологда "служивый будочник" с барабаном и барабанил во всю.

Проходящие и из домов посланные, выбежав на улицу, должны были его спрашивать: "служивый, о чем публикация?" Он останавливался и собравшейся около него кучке народа объяснял: так, мол, и так, пропала корова, сбежала дворовая собака, или учинена покража таких-то вещей, а в данном случае сбежала, дескать, дворовая девка помещицы, генеральши Богданович, таких-то лет и приметы, мол, такие-то. Нередко сулилась при этом и награда за указание и розыск.

Таким же порядком оповещалось городское население о предстоящих публичных казнях и телесных наказаниях.

Кормилицей моей была бабушкина "дворовая девка", деревенская красавица Ганя, или "Ганка", которая перед тем очень провинилась. Живя при своей матери коровнице в "экономии", она родила незаконного ребенка и его, как мертвого, скрыла. Вероятно, сама же удавила.

Властным распоряжением бабушки ее "покрыли" т. е. не довели дела до полиции, ни до суда (не лишаться же девки!) а "по-домашнему" - наказали.

К этому времени подоспело мое рождение и, как здоровую и рослую, ее определили мне в кормилицы.

Дело пошло очень ладно. Здоровое деревенское молоко питало меня на славу. На красавицу кормилицу, пышно разряженную, что твой павлин, на улицах прохожие глядеть останавливались.

По рассказам домашних она полюбила меня, часто целовала и, баюкая, пела свои малороссийские песни.

Особенно любила петь:

Віють вітри, віють буйны,

Аж дерева гнуться. ....

И вдруг, бросив меня на произвол судьбы, пропала.

По соображениям домашних, основанным на кое-чем подслушанном Марфою Мартемьяновной в девичьих, красавицу Ганю "сманил" заезжий грек (греками "парусниками" в то время кишел Николаев), и увез ее на своем судне в Константинополь.

Бедная Ганя, вот куда занесли ее "вітри буйны".

Чего доброго продал ее алчный грек какому-нибудь богатому турку в гарем... А кто знает, быть может, сам, плененный ее красотой, сделал ее подругой своей жизни, и стала она барыней.

Благодаря этим рассказам, влюбленный в свою романтически-коварную "мамку", я не разделял злобного чувства окружающих и мое детское воображение, на разные лады, наделяло ее всеми радостями мира, вплоть до представления ее себе какой-то сказочной султаншей.

Позднее, когда мы летом гостили в деревне у бабушки, я видел дряхлую старушонку, которая была еще при чем-то "при коровнике".

Мне сказали, что это мать Гани.

Старуха своей костлявой рукой погладила мою голову, назвала „миленьким паничиком", а потом захныкала и, наконец, взвыла, приговаривая: "пропала, сгилба Ганя, дочка моя родна несчастна!"

Я опрометью выбежал из коровника, куда забрел случайно, и пустился к дому.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

Всех менее меня баловала бабушка, Евфросиния Ивановна, хотя я чувствовал, что она любит нас обоих, сестру и меня; да и сам я, хотя сдержанно и почтительно, но любил ее.

Как обстояло дело, пока меня носили на руках, не знаю: сама ли она заходила к нам, или к ней на показ носили внука? Вернее последнее, по крайней мере, с тех пор, как я себя помнил, я ни разу не видел, чтобы она заходила к нам во флигель, а, между тем, мы видели ее аккуратно два раза в день, утром и вечером.

Обычно, этому предшествовала некоторая процедура: сестре одевали свежее платье, расчесывали "пушисто" волосы и завязывали их сзади лентой, "большим бантом"; меня также обдергивали, оглаживали и приводили в порядок.

В хорошую погоду мы с няней, Марфой Мартемьяновной, чинно проходили двором ширину ворот, с нашего крыльца на ее крыльцо; в дурную же погоду, в мороз или дождь, нас укутывали "с головой" и кучерявый Степка или дюжий бакенбардист Ванька бегом переносил нас разом, меня с сестрой, в "большой дом".

Здесь через анфиладу парадных комнат, казавшуюся мне неимоверно про-

странной и пустынной, мы чинно следовали в бабушкин будуар, где она всегда восседала в кресле на обычном месте.

Как только мы сворачивали из столовой и попадали в зал, чтобы пересечь его и проследовать двумя гостиными (большой и малой), нам уже издали видна была бабушка, так как ее кресло стояло как раз против раскрытых дверей в "парадные" комнаты.

Строго говоря, каждый день мы видели двух бабушек. Одну пышную и важную барыню, с коричневыми начесами и фигурной наколкой на голове, в шелковом, шуршащем платье, с персидскою шалью на плечах; в руках она обязательно держала мягкий, цветистый, фуляровый платок и миниатюрную золотую табакерку, с ее вензелем в гирлянде, на верхней крышке.

Вечером это была совсем другая бабушка, куда симпатичнее утренней, парадной. Совсем седенькая старушка, с головой повязанной темно-коричневым "очипком", в теплой домашней "душегрейке", отороченной серым мехом, с коленями, укрытыми мягким пуховым одеяльцем; в руках у нее не было ни утреннего платка, ни щегольской табакерки. Взамен этого, на круглом столике, стоявшем подле самого ее кресла, лежала большая серебряная, с чернью, табакерка и огромных размеров полосатый носовой платок с цветными разводами, тут же лежала колода фигурных карт, разложенная "пасьянсом" и большие круглые очки, в черепаховой оправе.

По утрам мы только прикладывались к ее руке, кое о чем она нас спрашивала, опрашивала и Марфу Мартемьяновну, как мы себя вели и предательски интересовалась, не было ли у меня "насморка" т. е., попросту, не ревел ли я накануне, когда мама уезжала на вечер.

Все в доме знали, что я большой "плакса", но, дипломатически, это именовалось "насморком". Если Марфа Мартемьяновна бывала "в духе", то "покрывала" меня и я торжествовал, так как бабушка, погладив меня по голове, говорила, что я "умник". В противном случае, бабушка выразительно качала головой и что-то строго наговаривала, чего я уже не слышал, так как "насморк" предательски подступал мне к горлу, и нас спешили увести.

Вечерние наши свидания с бабушкой бывали всегда и продолжительнее и много приятнее.

Самый наружный вид ее располагал к интимности... Белые, жидкие волосики, выбившиеся из-под "очипка", ласково смягчали довольно резкие черты ее лица; "душегрейка", со своей меховой оторочкой, как то мягко облегла ее теперь вовсе не пышную, а старчески сухощавую фигуру.

И ритуал наших вечерних посещений был совсем иной.

Марфа Мартемьяновна, после того, как доводила нас до бабушкиного будуара, низко ей поклонившись, не оставалась в комнате, а проходила дальше в помещение Феклы и Фионы, двух бабушкиных наперстниц.

Сестра, которая была самоувереннее и побойчее меня, усаживалась непременно на скамеечку, стоявшую в ногах бабушки, брала ее сухощавую, с голубыми жилками, руку и поглаживала ее, а я, обыкновенно, стоял вплотную у бабушкиного кресла.

Матовый свет масляной лампы, стоявшей на столе, как-то легко и тепло освещал всю негромоздкую фигуру "бабушки-старушки" и я чувствовал к ней несказанную нежность, выражавшуюся, впрочем, только тем, что я начинал

учащенное дышать и сопеть носом.

Тогда она сама протягивала ко мне свою руку, которую я целовал, а она несколько раз гладила мою щеку. Пока Марфа Мартемьяновна оставалась в гостях у Феклы и Фионы, слышен был заглушенный говорок, который, исполняя вечерний уют, складным полупшепотом достигал до будуара бабушки.

Наконец, когда наступало время, в комнате появлялась Марфа Мартемьяновна, а за нею, на пороге бабушкиной спальни, показывались Фекла и Фиона, знаменуя своим появлением конец нашего вечернего визита бабушке и начало приготовлений к ее сну.

В отличие от утреннего нашего расставания с бабушкой, дело не ограничивалось одним целованием ее руки; она сама целовала нас, крестила каждого в отдельности и отпускала с миром.

Мы весело, иногда даже шумно, устремлялись обратно, по анфиладе слабо освещенных комнат, прямо в столовую, где нас обыкновенно, как бы неожиданно (но мы знали это заранее) "перехватывала" Надежда Павловна в свою комнату, дверь которой выходила в столовую.

То-то было веселья и радости!

Мы прекрасно знали, что нас ждут здесь и любимые лакомства: изюм, рахат-лукум, орехи, чернослив... да еще мало ли что! Но главное было, все таки, сама Надежда Павловна, всегда ласковая, приветливая, наша "баловница", как прозвала ее Мартемьяновна.

Иногда, к вящему восторгу нашему, мы заставляли у нее и нашу маму. Когда у нее не было гостей и она сама никуда не выезжала, она ходила по долгу засиживаться у Надежды Павловны, с которой была дружна с детства.

Надежда Павловна Кирьязи осталась круглой сиротой после скоропостижной смерти своего вдового отца, главно-управляющего бабушкиными имениями, который славился своею честностью и не оставил никакого состояния.

Сын его служил где-то офицером в армии и бабушка высылала ему, от времени до времени, денежные пособия, а Надежда Павловна, девушка далеко не первой молодости, осталась жить у бабушки и стала заведывать всем ее домашним хозяйством, зимою в городе, а летом в деревне, куда уже с весны переселялась бабушка...

Это было очаровательное, незлобивое существо, вся в самоотверженных заботах о других.

Небольшого роста, сухоощавая, подвижная брюнетка, с легкою, преждевременною проседью в гладко зачесанных волосах, с добрыми серыми глазами, она, как домашний добрый гений, попевала всюду, где могла быть полезной. Все "дворовые" дети (а их было не мало), кошки, собаки и всяческая живность знали ее и спешили на ее зов, никогда не оставаясь в накладе.

Злющий цепной пес "Караим", бегавший на заднем дворе, с блоком у цепи, по протянутой вдоль всей конюшни веревке, радостно приветствовал ее появление, прыгал и кидался ей лапами на плечи. Она, нет, нет, и побалуует его то куском мясного пирога, то жирною костью.

Часто, когда в хорошую погоду меня выпускали гулять в сад, я "увязывался" за Надеждою Павловною при хозяйственных ее обходах и, подходя к "Караиму", держался крепко за ее юбку. Все обходилось благополучно и даже сослужило мне большую службу в будущем, когда я подрост и когда конюшня стала предметом